# Половина жизни

# Кир Булычев

## 1

Чуть выше Калязина, где Волга течет по широкой, крутой дуге, сдерживаемая высоким левым берегом, есть большой, поросший соснами остров. С трех сторон его огибает Волга, с четвертой — прямая протока, которая образовалась, когда построили плотину в Угличе и уровень воды поднялся. За островом, за протокой, снова начинается сосновый лес. С воды он кажется темным, густым и бескрайним. На самом деле он не так уж велик и даже не густ. Его пересекают дороги и тропинки, проложенные по песку, и потому всегда сухие, даже после дождей.

Одна из таких дорог тянулась по самому краю леса, вдоль ржаного поля, и упиралась в воду, напротив острова. По воскресеньям, летом, если хорошая погода, по ней к протоке приезжал автобус с отдыхающими. Они ловили рыбу и загорали. Часто к берегу у дороги приставали моторки и яхты, и тогда с воды были видны серебряные и оранжевые палатки. Куда больше туристов высаживалось на острове. Им казалось, что там можно найти уединение, и потому они старательно искали щель между поставленными раньше палатками, высадившись, собирали забытые консервные банки и прочий сор, ругали предшественников за беспорядок, убежденные в том, что плохое отношение к природе — варварство, что не мешало им самим, отъезжая, оставлять на берегу пустые банки, бутылки и бумажки. Вечерами туристы разжигали костры и пили чай, но в отличие от пешеходов, ограниченных тем, что могут унести в рюкзаках, они не пели песен и не шумели — чаще всего они прибывали туда семьями, с детьми, собаками, запасом разных продуктов и примусов.

Однорукий лесник с хмурым мятым лицом, который выходил искупаться к концу лесной дороги, привык не обижаться на туристов и не опасался, что они подожгут лес. Он знал, что его туристы — народ обстоятельный и солидный, костры они всегда заливают или затаптывают.

Однорукий лесник скидывал форменную тужурку с дубовыми листьями в петлицах, расстегивал брюки, ловко снимал ботинки и осторожно входил в воду, щупая ногой дно, чтобы не наступить на осколок бутылки или острый камень. Потом останавливался по пояс в воде, глубоко вздыхал и падал в воду. Он плыл на боку, подгребая единственной рукой. Надежда с Оленькой оставались обычно на берегу. Надежда мыла посуду, потому что в доме лесника на том конце дороги не было колодца, а если кончала мыть раньше, чем лесник вылезал из воды, садилась на камень и ждала его, глядя на воду и на цепочку костров на том берегу протоки, которые напоминали ей почему-то ночную городскую улицу и вызывали желание уехать в Ленинград или в Москву. Когда Надежда видела, что лесник возвращается, она заходила по колено в воду, протягивала ему пустые ведра, и он наполнял их, вернувшись туда, где поглубже и вода чище.

Если поблизости оказывались туристы, лесник накидывал на голое тело форменную тужурку и шел к костру. Он старался людей не пугать и говорил с ними мягко, вежливо и глядел влево, чтобы не виден был шрам на щеке.

На обратном пути он останавливался, подбирал бумажки и всякую труху и сносил к яме, которую каждую весну рыл у дороги и которой никто, кроме него, не пользовался.

Если было некогда или не сезон, и берега пусты, однорукий лесник не задерживался у воды. Набирал ведра и спешил домой. Надежда приезжала только по субботам, а Оленька, маленькая еще, боялась оставаться вечером одна.

Он шел по упругой ровной дороге, пролегшей между розовыми, темнеющими к земле стволами сосен, у подножия которых сквозь слой серых игл пробивались кусты черники и росли грибы.

Грибов лесник не ел, не любил и не собирал. Собирала их Оленька, и, чтобы доставить ей удовольствие, лесник научился солить их и сушить на чердаке. А потом они дарили их Надежде. Когда она приезжала.

Оленька была леснику племянницей. Дочкой погибшего три года назад брата-шофера. Они оба, и лесник, которого звали Тимофеем Федоровичем, и брат его Николай, были из этих мест. Тимофей пришел безруким с войны и устроился в лес, а Николай был моложе и на войну не попал. Тимофей остался бобылем, а Николай женился в сорок восьмом на Надежде, у него родилась дочь, и жили они с Надеждой мирно, но Николай попал в аварию и умер в больнице. До смерти Николая лесник редко виделся с братом и его семьей, но, когда настало первое лето после его смерти, лесник как-то был в городе, зашел к Надежде и пригласил ее с дочкой приезжать в лес. Он знал, что у Надежды скудно с деньгами, других родственников у нее нет — работала она медсестрой в больнице. Вот и позвал приезжать к себе, привозить девочку.

С тех пор Надежда каждое лето отвозила Оленьку дяде Тимофею, на месяц, а то и больше, а сама приезжала по субботам, прибирала в доме, подметала, мыла полы и старалась быть полезной, потому что денег за Оленьку Тимофей, конечно, не брал. И то, что она хлопотала по дому, вместо того чтобы отдыхать, и злило Тимофея, и трогало.

Был уже конец августа, погода портилась, ночи стали холодными и влажными, словно тянуло, как из погреба, от самого Рыбинского моря. Туристы разъехались. Была последняя суббота, через три дня Тимофей обещал привезти Олю к школе, ей пора было идти в первый класс. Была последняя ночь, когда Надежда будет спать в доме Тимофея. И до весны. Может, лесник приедет в Калязин на ноябрьские, а может, и не увидит их до Нового года.

Надежда мыла посуду. На песке лежал кусок хозяйственного мыла. Надежда мыла чашки и тарелки, что накопились с обеда и ужина, проводила тряпкой по мылу и терла ею посуду, зайдя по щиколотки в воду. Потом полоскала каждую чашку. Оля озябла и убежала куда-то в кусты, искала лисички. Лесник сидел на камне, накинув тужурку. Он не собирался купаться, но и дома делать было нечего. Они молчали.

Полоская чашки, Надежда наклонялась, и лесник видел ее загорелые, крепкие и очень еще молодые ноги, и ему было неловко оттого, что он не может поговорить с Надеждой, чтобы она оставалась у него совсем. Ему было бы легче, если бы Николая никогда не существовало, и потому лесник старался смотреть мимо Надежды, на серую сумеречную воду, черный частокол леса на острове и одинокий огонек костра на том берегу. Костер жгли не туристы, а рыбаки, местные.

Но Надежда в тот вечер тоже чувствовала себя неловко, будто ждала чего-то, и, когда взгляд лесника вернулся к ней, она распрямилась и спрятала под белую в красный горошек косынку прядь прямых русых волос. Волосы за лето стали светлее кожи — выгорели, от загара белее казались зубы и белки глаз. Особенно сейчас. Тимофей отвел глаза — Надежда смотрела на него как-то слишком откровенно, как на него смотреть было нельзя, потому что он был некрасив, потому что он был инвалид и еще был старшим братом ее погибшего мужа и потому что он хотел бы, чтобы Надежда осталась здесь.

А она стояла и смотрела на него. И он не мог, даже отводя глаза, не видеть ее. У нее была невысокая грудь, тонкая талия и длинная шея. А вот ноги были крепкими и тяжелыми. И руки были сильные, налитые. В сумерках глаза ее светились — белки казались светло-голубыми. Тимофей нечаянно ответил на ее взгляд, и сладкая боль, зародившись в плече, распространилась на грудь и подошла к горлу ожиданием того, что может и должно случиться сегодня.

Тимофей не мог оторвать взгляда от Надежды. А когда ее губы шевельнулись, он испугался наступающих слов и звука голоса.

Надежда сказала:

— Ты, Тима, иди домой. Оленьку возьми, она замерзла. Я скоро.

Тимофей сразу поднялся, с облегчением, полный благодарности Надежде, что она нашла такие ничего не значащие, но добрые и нужные слова.

Он позвал Олю и пошел к дому. А Надежда осталась домывать посуду.

## 2

Даг поудобнее уселся в потертом кресле, разложил список на столе и читал его вслух, отчеркивая ногтем строчки. Он чуть щурился — зрение начинало сдавать, хотя он сам об этом не догадывался или, вернее, не позволял себе догадываться.

— А запасную рацию взял?

— Взял, — ответил Павлыш.

— Второй тент взял?

— Ты дочитай сначала. Сато, у тебя нет черных ниток?

— Нет. Кончились.

— Возьми и третий тент, — сказал Даг.

— Не надо.

— И второй генератор возьми.

— Вот он, пункт двадцать три.

— Правильно. Сколько баллонов берешь?

— Хватит.

— Сгущенное молоко? Зубную щетку?

— Ты меня собираешь в туристский поход?

— Возьми компот. Мы обойдемся.

— Я к вам зайду, когда захочется компота.

— К нам не так легко прийти.

— Я шучу, — сказал Павлыш. — Я не собираюсь к вам приходить.

— Как хочешь, — сказал Даг.

Он смотрел на экран. Роботы ползали по тросам, как тли по травинкам.

— Сегодня переберешься? — спросил Даг.

Даг торопился домой. Они потеряли уже два дня, готовя добычу к транспортировке. И еще две недели на торможение и маневры.

На мостик вошел Сато и сказал, что катер готов и загружен.

— По списку? — спросил Даг.

— По списку. Павлыш дал мне копию.

— Это хорошо, — сказал Даг. — Добавь третий тент.

— Я уже добавил, — сказал Сато. — У нас есть запасные тенты. Нам они все равно не пригодятся.

— Я бы на твоем месте, — сказал Даг, — перебирался бы сейчас.

— Я готов, — сказал Павлыш.

Даг был прав. Лучше перебраться сейчас, и если что не так, нетрудно сгонять на корабль и взять забытое. Придется провести несколько недель на потерявшем управление, мертвом судне, брошенном хозяевами неизвестно когда и неизвестно почему, летевшем бесцельно, словно «Летучий голландец», и обреченном, не встреть они его, миллионы лет проваливаться в черную пустоту космоса, пока его не притянет какая-нибудь звезда или планета или пока он не разлетится вдребезги, столкнувшись с метеоритом.

Участок Галактики, через который они возвращались, был пуст, лежал в стороне от изведанных путей, и сюда редко заглядывали корабли. Это была исключительная, почти невероятная находка. Неуправляемый, оставленный экипажем, но не поврежденный корабль.

Даг подсчитал, что, если вести трофей на буксире, горючего до внешних баз хватит. Конечно, если выкинуть за борт груз и отправить в пустоту почти все, ради чего они двадцать месяцев не видели ни одного человеческого лица (собственные не в счет).

И кому-то из троих надо было отправиться на борт трофея, держать связь и смотреть, чтобы он вел себя пристойно. Пошел Павлыш.

— Я пошел, — сказал Павлыш. — Установлю тент. Опробую связь.

— Ты осторожнее, — сказал Даг, вдруг расчувствовавшись. — Чуть что...

— Главное, не потеряйте, — ответил Павлыш.

Павлыш заглянул на минуту к себе в каюту поглядеть, не забыл ли чего-нибудь, а заодно попрощаться с тесным и уже неуютным жилищем, где он провел много месяцев и с которым расставался раньше, чем предполагал. И оттого вдруг ощутил сентиментальную вину перед пустыми, знакомыми до последнего винта стенами.

Сато ловко подогнал катер к грузовому люку мертвого корабля. Нетрудно догадаться, что там когда-то стоял спасательный катер. Его не было. Лишь какое-то механическое устройство маячило в стороне.

Толкая перед собой тюк с тентами и баллонами, Павлыш пошел по широкому коридору к каюте у самого пульта управления. Там он решил обосноваться. Судя по форме и размерам помещения, обитатели его были пониже людей ростом, возможно, массивнее. В каюте, правда, не было никакой мебели, по которой можно было бы судить, как устроены хозяева корабля. Может, это была и не каюта, а складское помещение. Обследовать корабль толком не успели. Это предстояло сделать Павлышу. Корабль был велик. И путешествие обещало быть нескучным.

Следовало устроить лагерь. Сато помог раскинуть тент. Переходную камеру они устроили у двери и проверили, быстро ли тент наполняется воздухом. Все в порядке. Теперь у Павлыша был дом, где можно жить без скафандра. Скафандр понадобится для прогулок. Пока Павлыш раскладывал в каюте свои вещи, Сато установил освещение и опробовал рацию. Можно было подумать, что он сам намеревается здесь жить...

Разгонялись часов шесть. Даг опасался за прочность буксира. В конце разгона Павлыш вышел на пульт управления корабля и смотрел, как летевшие рядом серебряные цилиндры — выброшенный за борт груз — постепенно отставали, словно провожающие на платформе. Перегрузки были уже терпимые, и он решил заняться делами.

Пульт управления дал мало информации.

Странное зрелище представлял этот пульт. Да и вся рубка. Здесь побывал хулиган. Вернее, не просто хулиган, а малолетний радиолюбитель, которому отдали на растерзание дорогую и сложную машину. Вот он и превратил ее в детекторный приемник, используя транзисторы вместо гвоздей, из печатных схем сделав подставку, а ненужной, на его взгляд, платиновой фольгой оклеил свой чердачок, словно обоями. Можно было предположить — а это предположение уже высказал Даг, когда они попали сюда впервые, — что управление кораблем раньше было полностью автоматическим. Но потом кто-то без особых церемоний сорвал крышки и кожухи, соединил накоротко линии, которые соединять было не положено, — в общем, принял все меры, чтобы превратить хронометр в первобытный будильник. От такой вивисекции осталось множество лишних «винтиков», порой внушительных размеров. Шалун разбросал их по полу, словно спешил завершить разгром и спрятаться раньше, чем вернутся родители.

Удивительно, но нигде не встретилось ни одного стула, кресла или чего-либо близкого к этим предметам. Возможно, хозяева и не знали, что такое стулья. Сидели, скажем, на полу. Или вообще катались, словно перекати-поле. Павлыш таскал за собой камеру и старался заснять все, что можно. На всякий случай. Если что-нибудь стрясется, могут сохраниться пленки. Чуть гудел шлемовый фонарь, и оттого абсолютнее была тишина. Было так тихо, что Павлышу начали чудиться шелестящие шаги и шорохи. Хотелось ходить на цыпочках, будто он мог кого-то разбудить. Он знал, что будить некого, и хотел было отключить шлемофон, но потом остерегся. Если вдруг в беззвучном корабле возникнет шум, звук, голос, пускай он его услышит.

И от этой невероятной возможности стало совсем неуютно. Павлыш поймал себя на нелепом жесте — положил ладонь на рукоять бластера.

— Атавизм, — сказал он.

Оказалось, сказал вслух. Потому что в шлемофоне возник голос Дага.

— Ты о чем?

— Привык, что мы всегда вместе, — сказал Павлыш. — Неуютно.

Павлыш видел себя со стороны: маленький человек в блестящем скафандре, жучок в громадной банке, набитой трухой.

Коридор, который вел мимо его каюты, заканчивался круглым пустым помещением. Павлыш оттолкнулся от люка и в два прыжка одолел его. За ним начинался такой же коридор. И стены, и пол везде были одинакового голубого цвета, чуть белесого, словно выгоревшего от солнца. Свет шлемового фонаря расходился широким лучом, и стены отражали его. Коридор загибался впереди. Павлыш нанес его на план. Пока план корабля представлял собой эллипс, в передней части которого был обозначен грузовой люк и эллинг для улетевшего катера или спасательной ракеты, пульт управления, коридор, соединяющий пульт с круглым залом, и еще три коридора, отходившие от пульта. Известно было, где находятся двигатели, но их пока не стали обозначать на плане. Времени достаточно, чтобы все осмотреть не спеша.

Шагов через сто коридор уперся в полуоткрытый люк. У люка лежало что-то белое, плоское. Павлыш медленно приблизился к белому. Наклонил голову, чтобы осветить его ярче. Оказалась просто тряпка. Белая тряпка, хрупкая в вакууме. Павлыш занес над ней ногу, чтобы перешагнуть, но, видно, нечаянно дотронулся до нее, и тряпка рассыпалась в пыль.

— Жалко, — сказал он.

— Что случилось? — спросил Даг.

— Занимайся своими делами, — сказал Павлыш. — А то вообще отключусь.

— Попробуй только. Сейчас же прилечу за тобой. План не забудь.

— Не забыл, — сказал Павлыш, отмечая на плане люк.

За люком коридор расширился, в стороны отбегали его ветви. Но Павлыш даже пока не стал отмечать их. Выбрал центральный, самый широкий путь. Он привел его еще к одному люку, закрытому наглухо.

— Вот и все на сегодня, — сказал Павлыш.

Даг молчал.

— Ты чего молчишь? — спросил Павлыш.

— Не мешаю тебе беседовать с самим собой.

— Спасибо. Я дошел до закрытого люка.

— Не спеши открывать, — сказал Даг.

Павлыш осветил стену вокруг люка. Заметил выступающий квадрат и провел по нему перчаткой.

Люк легко отошел в сторону, и Павлыш прижался к стене. Но ничего не произошло.

Вдруг ему показалось, что сзади кто-то стоит. Павлыш резко обернулся, полоснул лучом света по коридору. Пусто. Подвели нервы. Он ничего не стал говорить Дагу и переступил через порог.

Павлыш оказался в обширной камере, вдоль стен шли полки, на некоторых стояли ящики. Он заглянул в один из них. Ящик был на треть наполнен пылью. Что в нем было раньше, угадать невозможно.

В дальнем углу камеры фонарь поймал лучом еще одну белую тряпку. Павлыш решил к ней не подходить. Лучше потом взять консервант, на Земле интересно будет узнать, из чего они делали материю. Но когда Павлыш уже отводил луч фонаря в сторону, ему вдруг показалось, что на тряпке что-то нарисовано. Может, только показалось? Он сделал шаг в том направлении. Черная надпись была видна отчетливо. Павлыш наклонился. Присел на корточки.

«Меня зовут Надежда» — было написано на тряпке. По-русски.

Павлыш потерял равновесие, и рука дотронулась до тряпки. Тряпка рассыпалась. Исчезла. Исчезла и надпись.

— Меня зовут Надежда, — повторил Павлыш.

— Что? — спросил Даг.

— Здесь было написано: «Меня зовут Надежда», — сказал Павлыш.

— Да где же?

— Уже не написано, — сказал Павлыш. — Я дотронулся, и она исчезла.

— Слава, — сказал Даг тихо. — Успокойся.

— Я совершенно спокоен, — сказал Павлыш.

## 3

До того момента корабль оставался для Павлыша фантомом, реальность которого была условна, словно задана правилами игры. И даже нанося на план — пластиковую пластинку, прикрепленную к кисти левой руки, — сетку коридоров и люки, он за рамки этой условности не выходил. Он был подобен разумной мыши в лабораторном лабиринте. В отличие от мыши настоящей, Павлыш знал, что лабиринт конечен и определенным образом перемещается в космическом пространстве, приближаясь к Солнечной системе.

Рассыпавшаяся записка нарушала правила, ибо никак, никаким самым сказочным образом оказаться здесь не могла и потому приводила к единственному разумному выводу: ее не было. Так и решил Даг. Так и решил бы Павлыш, оказавшись на его месте. Но Павлыш не мог поменяться местами с Дагом.

— Именно Надежда? — спросил Даг.

— Да, — ответил Павлыш.

— Учти, Слава, — сказал Даг. — Ты сам физиолог. Ты знаешь. Может, лучше мы тебя заменим? Или вообще оставим корабль без присмотра.

— Все нормально, — сказал Павлыш. — Не беспокойся. Я пошел за консервантом.

— Зачем?

— Если встретится еще одна записка, я ее сохраню для тебя.

Совершая недолгое путешествие к своей каюте, извлекая консервант из ящика со всякими разностями, собранными аккуратным Сато, он все время старался возобновить в памяти тряпку или листок бумаги с надписью. Но листок не поддавался. Как лицо любимой женщины: ты стараешься вспомнить его, а память рождает лишь отдельные, мелкие, никак не удовлетворяющие тебя детали — прядь над ухом, морщинку на лбу. К тому времени как Павлыш вернулся в камеру, где его поджидала (он уже начал опасаться, что исчезнет) горстка белой пыли, уверенность в записке пошатнулась.

Разум старался оградить его от чудес.

— Что делаешь? — спросил Даг.

— Ищу люк, — сказал Павлыш. — Чтобы пройти дальше.

— А как это было написано? — спросил Даг.

— По-русски.

— А какой почерк? Какие буквы?

— Буквы? Буквы печатные, большие.

От отыскал люк. Люк открылся легко. Это было странное помещение. Разделенное перегородками на отсеки разного размера, формы. Некоторые из них были застеклены, некоторые отделены от коридора тонкой сеткой. Посреди коридора стояло полушарие, похожее на высокую черепаху, сантиметров шестьдесят в диаметре. Павлыш дотронулся до него, и полушарие с неожиданной легкостью покатилось вдоль коридора, словно под ним скрывались хорошо смазанные ролики, ткнулось в стенку и замерло. Луч фонаря выхватывал из темноты закоулки и ниши. Но все они были пусты. В одной грудой лежали камни, в другой — обломки дерева. А когда он присмотрелся, обломки показались похожими на останки какого-то большого насекомого. Павлыш продвигался вперед медленно, поминутно докладывая на корабль о своем прогрессе.

— Понимаешь какая штука, — послышался голос Дага. — Можно утверждать, что корабль оставлен лет сорок назад.

— Может, тридцать?

— Может, и пятьдесят. Мозг дал предварительную сводку.

— Не надо стараться, — сказал Павлыш. — Даже тридцать лет назад мы еще не выходили за пределы системы.

— Знаю, — ответил Даг. — Но я еще проверю. Если только у тебя нет галлюцинаций.

Проверять было нечего. Тем более что они знали — корабль, найденный ими, шел не от Солнца. По крайней мере, много лет он приближался к нему. А перед этим должен был удаляться. А сорок, пятьдесят лет назад люди лишь осваивали Марс и высаживались на Плутоне. А там, за Плутоном, лежал неведомый, как заморские земли для древних, космос. И никто в этом космосе не умел говорить и писать по-русски...

Павлыш перебрался на следующий уровень, попытался распутаться в лабиринтах коридоров, ниш, камер. Через полчаса он сказал:

— Они были барахольщиками.

— А как Надежда?

— Пока никак.

Возможно, он просто не замечал следов Надежды, проходил мимо. Даже на Земле, стоит отойти от стандартного мира аэродромов и больших городов, теряешь возможность и право судить об истинном значении встреченных вещей и явлений. Тем более непонятен был смысл предметов чужого корабля. И полушарий, легко откатывающихся от ног, и ниш, забитых вещами и приборами, назначение которых было неведомо, переплетения проводов и труб, ярких пятен на стенах и решеток на потолке, участков скользкого пола и лопнувших полупрозрачных перепонок. Павлыш так и не мог понять, какими же были хозяева корабля, — то вдруг он попадал в помещение, в котором обитали гиганты, то вдруг оказывался перед каморкой, рассчитанной на гномов, потом выходил к замерзшему бассейну, и чудились продолговатые тела, вмерзшие в мутный лед. Потом он оказался в обширном зале, дальняя стена которого представляла собой машину, усеянную слепыми экранами, и ряды кнопок на ней размещались и у самого пола, и под потолком, метрах в пяти над головой.

Эта нелогичность, непоследовательность окружающего мира раздражала, потому что никак не давала построить хотя бы приблизительно рабочую гипотезу и нанизывать на нее факты — именно этого требовал мозг, уставший от блуждания по лабиринтам.

За редкой (впору пролезть между прутьями) решеткой лежала черная, высохшая в вакууме масса. Вернее всего, когда-то это было живое существо ростом со слона. Может быть, один из космонавтов? Но решетка отрезала его от коридора. Вряд ли была нужда прятаться за решетки. На секунду возникла версия, не лишенная красочности: этого космонавта наказали. Посадили в тюрьму. Да, на корабле была тюрьма. И когда срочно надо было покинуть корабль, его забыли. Или не захотели взять с собой.

Павлыш сказал об этом Дагу, но тот возразил:

— Спасательный катер был рассчитан на куда меньших существ. Ты же видел эллинг.

Даг был прав.

На полу рядом с черной массой валялся пустой сосуд, круглый, сантиметров пятнадцать в диаметре.

А еще через полчаса, в следующем коридоре, за прикрытым, но не запертым люком Павлыш отыскал каюту, в которой жила Надежда.

Он не стал заходить в каюту. Остановился на пороге, глядя на аккуратно застланную серой материей койку, на брошенную на полу косынку, застиранную, ветхую, в мелкий розовый горошек, на полку, где стояла чашка с отбитой ручкой. Потом, возвращаясь в эту комнату, он с каждым разом замечал все больше вещей, принадлежавших Надежде, находил ее следы и в других помещениях корабля. Но тогда, в первый раз, запомнил лишь розовый горошек на платке и чашку с отбитой ручкой. Ибо это было куда более невероятно, чем тысячи незнакомых машин и приборов.

— Все в порядке, — сказал Павлыш. Он включил распылитель консерванта, чтобы сохранить все в каюте таким, как было в момент его появления.

— Ты о чем? — спросил Даг.

— Нашел Надежду.

— Что?

— Нет, не Надежду. Я нашел, где она жила.

— Ты серьезно?

— Совершенно серьезно. Здесь стоит ее чашка. И еще она забыла косынку.

— Знаешь, — сказал Даг, — я верю, что ты не сошел с ума. Но все-таки я не могу поверить.

— И я не верю.

— Ты представь себе, — сказал Даг, — что мы высадились на Луне и видим сидящую там девушку. Сидит и вышивает, например.

— Примерно так, — согласился Павлыш. — Но здесь стоит ее чашка. С отбитой ручкой.

— А где Надежда? — спросил Сато.

— Не знаю, — сказал Павлыш. — Ее давно здесь нет.

— А что еще? — спросил Даг. — Ну скажи что-нибудь. Какая она была?

— Она была красивая, — сказал Сато.

— Конечно, — согласился Павлыш. — Очень красивая.

И тут Павлыш за койкой заметил небольшой ящик, заполненный вещами. Словно Надежда собиралась в дорогу, но что-то заставило ее бросить добро и уйти так, с пустыми руками.

Павлыш опрыскивал вещи консервантом и складывал на койке. Там была юбка, сшитая из пластика толстыми нейлоновыми нитками, мешок с прорезью для головы и рук, шаль или накидка, сплетенная из разноцветных проводов.

— Она здесь долго прожила, — сказал Павлыш.

На самом дне ящика лежала кипа квадратных белых листков, исписанных ровным, сильно наклоненным вправо почерком. И Павлыш заставил себя не читать написанного на них, пока не закрепил их и не убедился, что листки не рассыплются под пальцами. А читать их он стал, только вернувшись в свою каюту, где мог снять скафандр, улечься на надувной матрас и включить на полную мощность освещение.

— Читай вслух, — попросил Даг, но Павлыш отказался. Он очень устал. Он пообещал, что обязательно прочтет им самые интересные места. Но сначала проглядит сам. Молча. И Даг не стал спорить.

## 4

— «Я нашла эту бумагу уже два месяца назад, но никак не могла придумать, чем писать на ней. И только вчера догадалась, что совсем рядом, в комнате, за которой следит глупышка, собраны камни, похожие на графит. Я заточила один из них. И теперь буду писать». (На следующий день в каюте Надежды Павлыш увидел на стене длинные столбцы царапин и догадался, как она вела счет дням).

— «Мне давно хотелось писать дневник, потому что я хочу надеяться, что когда-нибудь, даже если я и не доживу до этого светлого дня, меня найдут. Ведь нельзя же жить совсем без надежды. Я иногда жалею, что я неверующая. Я бы смогла надеяться на бога и думать, что это все — испытание свыше».

На этом кончался листок. Павлыш понял, что листки лежали в стопке по порядку, но это не значило, что Надежда вела дневник день за днем. Иногда, наверно, проходили недели, прежде чем она вновь принималась писать.

— «Сегодня они суетятся. Стало тяжелее. Я опять кашляла. Воздух здесь все-таки мертвый. Наверно, человек может ко всему привыкнуть. Даже к неволе. Но труднее всего быть совсем одной. Я научилась разговаривать вслух. Сначала стеснялась, неловко было, словно кто-нибудь может меня подслушать. Но теперь даже пою. Мне бы надо записать, как все со мной произошло, потому что не дай бог кому-нибудь оказаться на моем месте. Только сегодня мне тяжело, и когда я пошла в огород, то по дороге так запыхалась, что присела прямо у стенки, и глупышки меня притащили обратно чуть живую».

Дня через два Павлыш нашел то, что Надежда называла огородом. Это оказался большой гидропонный узел. И нечто вроде ботанического сада.

— «Я пишу сейчас, потому что все равно пойти никуда не смогу, да глупышки и не пустят. Наверно, надо ждать прибавления нашему семейству. Только не знаю уж, увижу ли я...»

Третий листок был написан куда более мелким почерком, аккуратно. Надежда экономила бумагу.

— «Если когда-нибудь попадут сюда люди, пусть знают про меня следующее. Мое имя-отчество-фамилия Сидорова Надежда Матвеевна. Год рождения 1923-й. Место рождения — Ярославская область, село Городище. Я окончила среднюю школу в селе, а затем собиралась поступать в институт, но мой отец, Матвей Степанович, скончался, и матери одной было трудно работать в колхозе и управляться по хозяйству. Поэтому я стала работать в колхозе, хотя и не оставила надежды получить дальнейшее образование. Когда подросли мои сестры Вера и Валентина, я исполнила все-таки свою мечту и поступила в медицинское училище в Ярославле, и кончила его в 1942 году, после чего была призвана в действующую армию и провела войну в госпиталях в качестве медсестры. После окончания войны я вернулась в Городище и поступила работать в местную больницу в том же качестве. Я вышла замуж в 1948 году, мы переехали на жительство в Калязин, а на следующий год у меня родилась дочь Оленька, однако мой муж, Николай Иванов, шофер, скончался в 1953 году, попав в аварию. Так мы и остались одни с Оленькой».

Павлыш сидел на полу, в углу каморки, затянутой белым тентом. Автобиографию Надежды он читал вслух. Почерк разбирать было несложно — писала она аккуратно, круглыми, сильно наклоненными вправо буквами, лишь кое-где графит осыпался, и тогда Павлыш наклонял листок, чтобы разобрать буквы по вмятинам, оставленным на листке. Он отложил листок и осторожно поднял следующий, рассчитывая найти на нем продолжение.

— Значит, в пятьдесят третьем году ей уже было тридцать лет, — сказал Сато.

— Читай дальше, — сказал Даг.

— Здесь о другом, — сказал Павлыш. — Сейчас прочту сам.

— Читай сразу, — Даг обижался. И Павлыш подумал вдруг, как давно Даг ему не завидовал и как вообще давно они друг другу не завидовали.

— «Сегодня притащили новых. Они их поместили на нижний этаж, за пустыми клетками. Я не смогла увидеть, сколько всего новеньких. Но, по-моему, несколько. Глупышка закрыл дверь и меня не пустил. Я вдруг поняла, что очень им завидую. Да, завидую несчастным, оторванным навсегда от своих семей и дома, заключенным в тюрьму за грехи, которых они не совершали. Но ведь их много. Может, три, может, пять. А я совсем одна. Время здесь идет одинаково. Если бы я не привыкла работать, то давно б уже померла. И сколько лет я здесь? По-моему, пошел четвертый год. Надо будет проверить, посчитать царапинки. Только я боюсь, что сбилась со счета. Ведь я не записывала, когда болела, и только мысль об Оленьке мне помогла выбраться с того света. Ну что же, займусь делом. Глупышка принес мне ниток и проволоки. Они ведь что-то понимают. А иголку я нашла на третьем этаже. Хоть глупышка и хотел ее у меня отобрать. Испугался, бедненький».

— Ну? — спросил Даг.

— Все я читать все равно не смогу, — ответил Павлыш. — Погодите. Вот тут вроде бы продолжение.

— «Я потом разложу листки по порядку. Мне все кажется, что кто-то прочтет эти листки. Меня уже не будет, прах мой разлетится по звездам, а бумажки выживут. Я очень прошу тебя, кто будет это читать, разыщи мою дочку Ольгу. Может, она уже взрослая. Скажи ей, что случилось с матерью. И хоть ей мою могилку никогда не отыскать, все-таки мне легче так думать. Если бы мне когда-нибудь сказали, что я попаду в страшную тюрьму, буду жить, а все будут думать, что меня давно уж нет, я бы умерла от ужаса. А ведь живу. Я очень надеюсь, что Тимофей не подумает, что я бросила девочку ему на руки и убежала искать легкой жизни. Нет, скорее всего, они обыскали всю протоку, решили, что я утонула. А тот вечер у меня до конца дней останется перед глазами, потому что он был необыкновенный. Совсем не из-за беды, а наоборот. Тогда в моей жизни должно было что-то измениться... А изменилось совсем не так».

— Нет, — сказал Павлыш, откладывая листок. — Тут личное.

— Что личное?

— Здесь о Тимофее. Мы же не знаем, кто такой Тимофей. Какой-то ее знакомый. Может, из больницы. Погодите, поищу дальше.

— Как ты можешь судить! — воскликнул Даг. — Ты в спешке обязательно упустишь что-то главное.

— Главное я не упущу, — ответил Павлыш. — Этим бумажкам много лет. Мы не можем искать ее, не можем спасти. С таким же успехом мы могли бы читать клинопись. Разница не принципиальная.

— «После смерти Николая я осталась с Оленькой совсем одна. Если не считать сестер. Но они были далеко, и у них были свои семьи и свои заботы. Жили мы не очень богато, я работала в больнице и была назначена весной 1956 года старшей сестрой. Оленька должна была идти в школу, в первый класс. У меня были предложения выйти замуж, в том числе от одного врача нашей больницы, хорошего, правда, пожилого человека, но я отказала ему, потому что думала, что молодость моя все равно прошла. Нам и вдвоем с Оленькой хорошо. Мне помогал брат мужа Тимофей Иванов, инвалид войны, который работал лесником недалеко от города. Несчастье со мной произошло в конце августа 1956 года. Я не помню теперь числа, но помню, что случилось это в субботу вечером... Обстоятельства к этому были такие. У нас в больнице выдалось много работы, потому что было время летних отпусков и я подменяла других сотрудников. Оленьку, к счастью, как всегда, взял к себе пожить Тимофей в свой домик. А я приезжала туда по субботам на автобусе, потом шла пешком и очень хорошо отдыхала, если выдавалось свободное воскресенье. Его дом расположен в сосновом лесу недалеко от Волги».

Павлыш замолчал.

— Ну, что дальше? — спросил Даг.

— Погодите, ищу листок.

— «Я постараюсь описать то, что было дальше, со всеми подробностями, потому что как работник медицины понимаю, какое большое значение имеет правильный диагноз, и кому-нибудь эти все подробности понадобятся. Может быть, мое описание, попади оно в руки к специалисту, поможет разгадать и другие похожие случаи, если они будут. В тот вечер Тимофей и Оленька проводили меня до реки мыть посуду. В том месте дорога, которая идет от дома к Волге, доходит до самой воды. Тимофей хотел меня подождать, но я боялась, что Оленьке будет холодно, потому что вечер был нетеплый, и попросила его вернуться домой, а сама сказала, что скоро приду. Было еще не совсем темно, и минуты через три-четыре после того, как мои родные ушли, я услышала тихое жужжание. Я даже не испугалась сначала, потому что решила, что по Волге, далеко от меня, идет моторка. Но потом меня охватило неприятное чувство, словно предчувствие чего-то плохого. Я посмотрела на реку, но никакой моторки не увидела...»

Павлыш нашел следующий листок.

— «...но увидела, что по направлению ко мне чуть выше моей головы летит воздушная лодка, похожая на подводную лодку без крыльев. Она показалась мне серебряной. Лодка снижалась прямо передо мной, отрезая меня от дороги. Я очень удивилась. За годы войны я повидала разную военную технику и сначала решила, что это какой-то новый самолет, который делает вынужденную посадку, потому что у него отказал мотор. Я хотела отойти в сторону, спрятаться за сосну, чтобы, если будет взрыв, уцелеть. Но лодка выпустила железные захваты, и из нее посыпались глупышки. Тогда я еще не знала, что это глупышки, но в тот момент сознание у меня помутнело, и я, наверно, упала...»

— Дальше что? — спросил Даг, когда пауза затянулась.

— Дальше все, — ответил Павлыш.

— Ну что же было?

— Она не пишет.

— Так что же она пишет, в конце концов?

Павлыш молчал. Он читал про себя.

«Я знаю дорогу на нижний этаж. Там есть путь из огорода, и глупышки за ним не следят. Мне очень захотелось поглядеть на новеньких. А то все мои соседи неразумные. К дракону в клетку я научилась заходить. Раньше боялась. Но как-то посмотрела, чем его кормят глупышки, и это все были травы с огорода. Тогда я и подумала, что он меня не съест. Может, я долго бы к нему не заходила, но как-то шла мимо и увидела, что он болен. Глупышки суетились, подкладывали ему еду, мерили что-то, трогали. А он лежал на боку и тяжело дышал. Тогда я подошла к самой решетке и присмотрелась. Ведь я медик, и мой долг облегчить страдания. Глупышкам я помочь не смогла бы — они железные. А дракона осмотрела, хоть и через решетку. У него была рана — наверно, хотел выбраться, побился о решетку. Силы в нем много — умом бог обидел. Я тут стала отчаянная — жизнь не дорога. Думаю: он ко мне привык. Ведь он еще раньше меня сюда попал — уже тысячу раз видел. Я глупышкам сказала, чтобы они не мешали, а принесли воды, теплой. Я, конечно, рисковала. Ни анализа ему не сделать, ничего. Но раны загноились, и я их промыла, перевязала как могла. Дракон не сопротивлялся. Даже поворачивался, чтобы мне было удобнее».

Следующий листок, видно, попал сюда снизу пачки и не был связан по смыслу с предыдущими.

«Сегодня села писать, а руки не слушаются. Птица вырвалась наружу. Глупышки носились за ней по коридорам, ловили сетью. Я тоже хотела поймать ее, боялась, что разобьется. Но зря старалась. Птица вылетела в большой зал, ударилась с лету о трубу и упала. Я потом, когда глупышки тащили ее в свой музей, подобрала перо, длинное, тонкое, похожее на ковыль. Я и жалела птицу, и завидовала ей. Вот нашла все-таки в себе силу погибнуть, если уж нельзя вырваться на свободу. Еще год назад такой пример мог бы на меня оказать решающее влияние. Но теперь я занята. Я не могу себя потратить зазря. Пускай моя цель нереальная, но все-таки она есть. И вот, такая расстроенная и задумчивая, я пошла за глупышками, и они забыли закрыть за собой дверь в музей. Туда я не попала — там воздуха нет, — но заглянула через стеклянную стенку. И увидела банки, кубы, сосуды, в которых глупышки хранят тех, кто не выдержал пути: в формалине или в чем-то похожем. Как уродцы в Кунсткамере в Ленинграде. И я поняла, что пройдет еще несколько лет, и меня, мертвую, не сожгут и не похоронят, а поместят в стеклянную банку на любование глупышкам или их хозяевам. И стало горько. Я Балю об этом рассказала. Он только поежился и дал мне понять: того же боится. Сижу над бумагой, а представляю себя в стеклянной банке, заспиртованную».

Потом, уже через несколько дней, Павлыш отыскал музей. Космический холод заморозил жидкость, в которой хранились экспонаты. Павлыш медленно шел от сосуда к сосуду, всматриваясь в лед сосудов покрупнее. Боялся найти тело Надежды. А в ушах перебивали друг друга нетерпеливо Даг и Сато: «Ну как?» Павлыш разделял страх Надежды. Лучше что угодно, чем банка с формалином. Правда, он отыскал банку с птицей — радужным эфемерным созданием с длинным хвостом и большеглазой, без клюва, головой. И еще нашел банку, в которой был Баль. Об этом рассказано в следующих листках.

«Я все сбиваюсь в своем рассказе, потому что происходящее сегодня важнее, чем прошедшие годы. Вот и не могу никак описать мое приключение по порядку.

Очнулась я в каморке. Там горел свет, неяркий и неживой. Это не та комната, где я живу сейчас. В каморке теперь свалены ископаемые ракушки, которые глупышки притащили с год назад. За четыре с лишним года мы раз шестнадцать останавливались, и каждый раз начиналась суматоха, и сюда тащили всякие вещи, а то и живых существ. Так вот, в каморке, кроме меня, оказалась посуда, которую я мыла и которая мне потом очень пригодилась, ветки сосны, трава, камни, разные насекомые. Я только потом поняла, что они хотели узнать, чем меня кормить. А тогда я подумала, что весь этот набор случайный. Я есть ничего не стала: не до того было. Села, постучала по стенке — стенка твердая, и вокруг все время слышится жужжание, словно работают машины на пароходе. И, кроме того, я ощутила большую легкость. Здесь вообще все легче, чем на Земле. Я читала когда-то, что на Луне сила тяжести тоже меньше, и если когда-нибудь люди полетят к звездам, как учил Циолковский, то они совсем ничего не будут весить. Вот эта маленькая сила тяжести и помогла мне скоро понять, что я уже не на Земле, что меня украли, увезли, как кавказского пленника, и никак не могут довезти до места. Я очень надеюсь, что люди, наши, с Земли, когда-нибудь тоже научатся летать в космическое пространство. Но боюсь, что случится это еще не скоро».

Павлыш прочел эти строки вслух. Даг сказал:

— А ведь всего год не дожила до первого спутника.

И Сато поправил его:

— Она была жива, когда летал Гагарин.

— Может быть. Но ей оттого не легче.

— Если бы знала, ей было бы легче, — сказал Павлыш.

— Не уверен, — сказал Даг. — Она бы тогда ждала, что ее освободят. А не дождалась бы.

— Не в этом дело, — сказал Павлыш. — Ей важно было знать, что мы тоже можем.

Дальше он читал вслух, пока не устал.

— «Они мне принесли поесть и стояли в дверях, смотрели, буду есть или нет. Я попробовала — странная каша, чуть солоноватая, скучная еда. Но тогда я была голодная и как будто оглушенная. Я все смотрела на глупышек, которые стояли в дверях, как черепахи, и просила, чтобы они позвали их начальника. Я не знала тогда, что их начальник — Машина — во всю стену дальнего зала. А что за настоящие хозяева, какие они из себя, до сих пор не знаю, отправили этот корабль в путь с одними железными автоматами. Потом я думала, как они догадались, какая пища мне не повредит? И ломала себе голову, пока не попала в их лабораторию и не догадалась, что они взяли у меня, пока я была без сознания, кровь и провели полное исследование организма. И поняли, чего и в каких пропорциях мне нужно, чтобы не помереть с голоду. А что такое вкусно, они не знают. Я на глупышек давно не сержусь. Они, как солдаты, выполняют приказ. Только солдаты все-таки думают. Они не могут. Я все первые дни проплакала, просилась на волю и никак не могла понять, что до воли мне лететь и лететь. И никогда не долететь.

... У меня вдруг появилось беспокойство. Это, наверно, из-за того, что я теперь не одна. Такое создается впечатление, что скоро случатся изменения. Не знаю уж, к лучшему ли. Только к худшему изменяться некуда. Сегодня снилась мне Оленька, и я во сне удивлялась, почему она не растет, почему бегает такая маленькая. Ведь ей пора бы и вырасти. А она только смеялась. Я, когда проснулась, очень встревожилась. Не значит ли это, что Оленьки уже нет на свете? Раньше я никогда не верила предчувствиям. Даже на фронте. Насмотрелась на обманчивые предчувствия. А теперь вот весь день не могла себе места найти. Я потом подумала еще вот о чем: а откуда я решила, что я правильно считаю дни? Я ведь царапинку делаю, когда встаю утром? А если не утром? Может, я теперь чаще сплю. Или реже. Ведь не угадаешь. Здесь всегда одинаково. И я подумала, что, может, прошло не четыре года, а только два. Или один. А может, и наоборот — пять, шесть, семь лет? Сколько же лет сейчас Оле? А мне сколько? Может, я уже старуха? Я так переволновалась, что побежала к зеркалам. Это, конечно, не зеркала. Они чуть выпуклые, круглые, похожие на экраны телевизоров. Иногда по ним пробегают зеленые и синие зигзаги. Других зеркал у меня нет. Я долго всматривалась в экраны. Даже глупышки, которые там дежурили, стали сигналить мне — что нужно? Я только отмахнулась. Прошли те времена, когда я их звала палачами, мучителями, фашистами. Теперь я их не боюсь. Я боюсь только Машину. Начальника. Я долго смотрелась в зеркала, переходила от одного к другому, искала то, что посветлее. И ничего решить не смогла. Вроде бы это я — и нос такой же, глаза провалились, и лицо кажется синее. Но это, вернее всего, от самого зеркала. Мешки, правда, под глазами. И я вернулась в комнату».

— Это крайне интересно, — сказал Даг. — Ты как, Павлыш, думаешь?

— Что?

— Об этой проблеме. Изолируй человека на несколько лет так, чтобы он не знал о ходе времени вне его помещения. Изменится ли биологический цикл?

— Я сейчас не об этом думаю, — сказал Павлыш.

— «Я вдруг вспомнила о котенке. Совсем забыла. А сегодня вспомнила. Они котенка откуда-то достали. С Земли, конечно. Он пищал и мяукал. Это было в первые дни. Пищал он в соседней каморке, и глупышки все туда бегали, никак не могли догадаться, что ему молоко нужно. Я тогда совсем робкая была, и они меня привели к нему, к котенку, думали, что я смогу помочь. Но я же не могла объяснить им, что такое молоко. А, видно, в их искусственной пище чего-то не хватало. Я с котенком возилась три дня. Кашу водой разбавляла, в этой заботе забывала даже о своем горе. Но котенок сдох. Видно, человек куда выносливей зверя, хоть и говорят, что у кошки восемь жизней. Я-то живу. Наверно, котенок тоже у них в музее лежит. Теперь я бы нашла чем его кормить. Я знаю ход в их лабораторию. И глупышки ко мне по-другому относятся. Привыкли. А дракон совсем плох. Видно, скоро умрет. Я у него вчера просидела долго, снова промыла раны. А он совсем ослаб. Я с ним сделала открытие. Оказывается, дракон может каким-то образом влиять на мои мысли. Не то чтобы я понимала его, но, когда ему больно, я это чувствую. Я знаю, что он рад моему приходу. И я жалею теперь, что раньше не обращала на него внимания — боялась. Ведь, может быть, он такой же, как я. Тоже пленник. Только еще более несчастный. Его все эти годы держали в клетке. Может, этот дракон — медсестра в больнице на какой-то очень далекой планете. И так же приехала эта дракониха проведать свою дочку. И попалась в наш зоопарк. И прожила в нем много лет в клетке. И все хотела втолковать глупышкам, что она не глупее их. Так и умрет, не втолковав. Я, значит, сначала улыбнулась, а потом расплакалась. Вот и сижу реву, а мне идти пора, ждут.

И все-таки, если я думаю о драконе, то думаю, что моя судьба лучше. Я хоть пользуюсь какой-то свободой. И пользовалась ею с самого начала. С тех пор, как помер котенок. Я много думала, почему так получилось, что все остальные пленники — сколько их тут есть (за перегородками на остальных этажах воздух другой — туда мне не пройти, и там тоже, наверно, есть пленники) — сидят взаперти. Лишь я довольно свободно разгуливаю по этажам. Почему-то они решили, что я им не опасна. Может быть, их хозяева на меня похожи. Доверили мне котенка. Пустили в огород и показали, где семена. В лабораторию мне можно ходить. Даже слушаются меня глупышки. Тот, кто эти листки будет читать, наверно, удивится, что за глупышки? Это я железных черепах так называю. Как узнала, что они машинки, что они простых вещей не понимают, так и стала их звать глупышками. Для себя. Но все равно, если задуматься, жизнь моя ненамного лучше тех, кто в клетках. И в камерах. Просто моя тюрьма обширнее, чем у них. Вот и все. Я же пыталась через глупышек объяснить Машине, начальнику, что это чистое преступление — хватать живого человека и держать его так. Я хотела им объяснить, что лучше им связаться с нами, с Землей. Но потом я убедилась, что, кроме машин, здесь никого нет. А машинам дан приказ — летайте по Вселенной, собирайте, что встретится на пути, потом доложите. Только уж очень долог обратный путь. Я еще надеюсь, что доживу, а дожив, встречусь с ними и все им выложу. А может, они и не знают, что где-нибудь, кроме их планеты, есть разумные люди?»

Когда Павлыш кончил читать этот листок, Даг сказал:

— В общем, она рассуждала довольно логично.

— Конечно, это был исследовательский автомат, — сказал Павлыш. — Но есть тут одна загадка. И Надежда ее уловила.

— Загадка? — спросил Сато.

— Мне кажется странным, — сказал Павлыш, — что такой громадный корабль, посланный в дальний поиск, не имеет никакой связи с базой, с планетой. Видно, летит он много лет. И за это время информация устаревает.

— Я не согласен, — сказал Даг. — Представь, что таких кораблей несколько. Каждому выделен сектор Галактики. И пускай они летят много лет. Неважно. Ведь органическую жизнь они обнаружат, дай бог, на одном мире из тысячи. Вот они свозят информацию. Что такое сто лет для цивилизации, которая может рассылать разведчиков? А потом уж они на досуге рассмотрят трофеи и решат, куда посылать экспедицию.

— И они хватают все, что попадется? — спросил Сато, не скрывая неприязни к хозяевам корабля.

— А какие критерии могут быть у автоматов, чтобы определить, разумное ли существо им попалось?

— Ну, Надежда, например, была одета. Они видели наши города.

— Неубедительно, — сказал Павлыш. — И где гарантия, что в мире икс разумные существа не ходят голыми и не одевают в платья своих домашних животных.

— И шансы на то, что они выловят именно разумное существо, столь малы, — добавил Даг, — что ими они, наверно, просто пренебрегают. В любом случае они стремятся сохранить живьем все свои трофеи.

— Разговор пустой, — подытожил Павлыш, поднимая следующий листок. — Мы пока ничего не знаем о тех, кто послал корабль. И не знаем, что они думали при этом. В известной нам части Галактики ничего подобного нет. Значит, они издалека. Мы знаем только, что они были у нас, но по какой-то причине не вернулись домой.

— Может, это и к лучшему, — сказал Даг.

Остальные промолчали.

«Как-нибудь потом, будет время, напишу о моих первых годах в тюрьме. Сейчас многое уже кажется туманным, далеким — и ужас мой, и отчаяние, и то, как я искала выход отсюда, думала даже, что заберусь к ним в центр и поломаю все их машины. Пускай мы разобьемся. Это в то время я так думала, когда боялась, что они снова прилетят к нам на Землю и натворят что-нибудь плохое. Но я поняла, что с их кораблем мне не справиться. Наверно, тут сто инженеров не поймут, что к чему. А сейчас мне пора вернуться к тем событиям, которые произошли уже не так давно, месяцы, недели назад, уже после того как я раздобыла бумагу и начала писать дневник. Новые пленники, которых подобрали в последний раз, попали на мой этаж, наверно, потому, что у нас с ними одинаковый воздух. Их подержали сначала в карантине, на другом этаже, а потом отправили в камеры недалеко от моих владений. Меня одолела надежда, что вдруг это тоже люди или кто-нибудь хотя бы похожий. Но когда я их увидела — подсмотрела, как глупышки завозили в камеру еду, поняла, что опять для меня сплошное разочарование. Я как-то видела в Ярославле, в магазине, продавали трепангов. Я тогда подумала: бывает же гадость, и как только люди едят? Другие покупатели в магазине так же реагировали. Новенькие животные оказались похожими на таких трепангов. Было их в камере двое, росточком они с собаку, скользкие и отвратительного вида. Я расстроилась и ушла к себе. Даже записывать ничего в дневник о них не стала. На другой день все рассказала моей драконихе, но она, конечно, ничего не поняла. Если бы я не ждала чего-то, легче было бы перенести такое разочарование. Этих трепангов из камер не выпускали. Я скоро уже поняла, что их всего пятеро — двое в камере, а трое в клетке, за железной дверью. Их пищу я тоже вскоре увидела, потому что глупышки мой огород потеснили, разводили в лоханках какую-то плесень, словно живая, она шевелится, и вонь от нее неприятная. И эту плесень таскали трепангам.

... Что-то опять плохо стало драконихе. Я уж в лаборатории опыты развела. Посмотрел бы на меня Иван Акимович из нашей больницы. Он мне все советовал пойти учиться. Говорил, что из меня получится врач, потому что у меня развита интуиция. Но жизнь меня засосала, я осталась неучем. О чем сильно теперь жалею. Правда, мне не раз приходилось замещать лаборантку, и я умела делать анализы и ассистировать при операциях: маленькая больница — хорошая школа, всем бы молодым медикам советовала через нее пройти. Но разве здесь мои знания могли пригодиться?»

— Ты чего молчишь? — спросил Даг. — Пропускаешь?

— Все сам прочтешь. Я хочу добраться до сути, — ответил Павлыш.

«Хоть я испытывала отвращение к трепангам, но понимала, что отвращение мое несправедливое. Ничего они мне плохого не сделали. И тем более я уже привыкла жить среди таких чудес и уродцев, что и во сне не приснятся. Посчитать мои дни здесь — такая получается бесконечная и одинаковая цепочка, что страшно делается. А вдуматься, то получится, что каждый день узнаю что-нибудь, смотрю, думаю. До чего же человек выносливое существо! Ведь и я кому-то кажусь страшным уродом. Может, даже и моей драконихе.

Наверно, эти трепанги могут думать. Такое решение мне пришло в голову, когда я увидела, что, стоит мне пройти мимо их клетки, они за мной следят и двигаются.

Как-то я шла с огорода с пучком редиски — редиска хилая, вялая, но все-таки витамины. Один трепанг возился у самой решетки. Мне показалось, что он старается сломать замок. Что же, подумала я, ведь и мне такое приходило в голову. В первые дни, когда я сидела взаперти, и в те дни, когда меня запирали, потому что приближались к другим планетам. Подумала и даже остановилась. Ведь что же это получается? Как я, значит, думают? А трепанг, как увидел меня, зашипел и отполз внутрь. Но не успел, потому что один из глупышек был неподалеку (я-то его не видела, привыкла не замечать), и он ударил трепанга током. Такое у них наказание. Трепанг съежился. Я на глупышку прикрикнула и хотела дальше пойти, но тут и мне досталось. Да так сильно он меня ударил током, что я даже упала и рассыпала редиску. Видно, он хотел мне показать, что с этими, с трепангами, мне делать нечего. Я поднялась кое-как — суставы последнее время побаливают — и ушла к себе. Сколько живу здесь, а не могу привыкнуть, что я для них все-таки как кролик в лаборатории. В любой момент они могут меня убить — и в музей, в банку. И ничего им за это не будет. Я зубы стиснула и ушла.

...Потом-то оказалось, что этот удар током мне даже помог. Трепанги сначала думали, что я одна из их хозяев. Приняли даже меня за главную. И если бы не глупышкино наказание, меня бы считали за врага. А так, прошло дня три, иду я мимо них опять дракониху лечить, вижу, один трепанг возится у решетки и шипит. Тихо так шипит. Осмотрелась я — глупышек не видно. «Чего, — спрашиваю, — несладко тебе, милый?» Я за эти дни и к трепангам уже успела привыкнуть, и они не казались мне такими уродами, как в первый день. А трепанг все шипит и пощелкивает. И тогда я поняла, что он со мной говорит. «Не понимаю», — я ему ответила и хотела было улыбнуться, но решила, что не стоит — может, моя улыбка ему покажется хуже волчьего оскала. Он снова шипит. Я ему говорю: «Ну что ты стараешься? Словаря у меня нету. А если ты не ядовитый, то мы с тобой друг друга обязательно поймем». Он замолчал. Слушает. Тут в коридоре показался большой глупышка, с руками как у кузнечика. Уборщик. Я хоть и знала, что такие током не бьют, но поспешила дальше — не хотела, чтобы меня видели перед клеткой. Но обратно шла, снова задержалась, поговорила. Все есть с кем душу отвести. Потом мне пришло в голову: может, им удобнее со мной объясняться по-письменному? Я написала на листке, что меня зовут Надеждой, принесла ему, показала и при этом, что написала, повторила вслух. Но боюсь, что он не понял. А еще через день случилось столкновение у одного из трепангов с глупышками. Я думаю, что ему удалось открыть замок и его поймали в коридоре. Попал он на уборщиков, и они его сильно помяли, пока других глупышек звали, а он сопротивлялся. Я в коридоре была, услышала шум, побежала туда, но опоздала. Его уже посадили в отдельную камеру, новый замок делали. Вижу — другие трепанги волнуются, беспокоятся в клетках. Я попыталась тогда пробраться в камеру к трепангу, которого отделили. Глупышки не пускают. Током не бьют, но не пускают. Тогда я решила их переупрямить. Встала около двери и стою. Дождалась, пока они дверь откроют, и успела заглянуть внутрь. Трепанг лежит на полу, весь израненный. Тогда я пошла в лабораторию, собрала там свою медицинскую сумку — ведь не в первый раз приходится здесь выступать неотложной помощью — и пошла прямо в камеру. Когда глупышка хотел меня остановить, показала, что у меня в сумке. Глупышка замер. Я уже знала — они так делают, когда советуются с Машиной. Жду. Прошла минута. Вдруг глупышка откатывается в сторону — иди, мол. Я просидела около трепанга часа три. Гоняла глупышек, словно своих санитарок. Они мне и воду принесли, и подстилку для трепанга, но одного я добиться не смогла — чтобы привели еще одного трепанга. Ведь свои лучше меня знают, что ему нужно. И самое удивительное — в тот момент, когда глупышек в камере не было, трепанг снова зашипел, и в его шипении я разобрала слова: «Ты чего стараешься?» Я поняла, что он запомнил, как я с ним разговаривала, и старается мне подражать. Вот тогда я первый раз за много месяцев по-настоящему обрадовалась. Ведь он не только подражал, он понимал, что делает.

...Меня удивляло, как быстро они запоминали мои слова, и, хоть им трудно было их произносить — рот у них трубочкой, без зубов, — они очень старались. Я все эти дни и недели жила как во сне. В хорошем сне. Я заметила в себе удивительные изменения. Оказалось, что нет на свете существ приятней, чем трепанги. Поняла, что они красивые, научилась их различать, но, честно скажу, ровным счетом ничего в их шипении и пощелкивании я не понимала. Да и сейчас не понимаю. Я их учила, как только была возможность, — мимо прохожу, слово говорю, разные предметы проношу рядом с клеткой, показываю, и они сразу понимают. Они выучили, как зовут меня, и, как завидят (если рядом глупышек нет), сразу шипят: «Нашешда, Нашешда!» Ну как малые дети! А я узнала на огороде, что они любят. И старалась, чтобы их подкормить. Хоть и еда у них вонючая — так и не привыкла к этому запаху. Глупышки по части трепангов имели строгий наказ Машины — на волю их не отпускать, глаз не сводить, беречь и не доверять. Так что я не могла открыто с ними видеться. А то бы и меня заподозрили. И вот тоже удивительно — сколько я провела здесь времени, и была для глупышек неопасна. Одна была. А вместе с трепангами мы стали силой. И я это чувствовала. И трепанги мне говорили, когда научились по-русски. И вот наступил такой день, когда я подошла к их клетке и услышала:

— Надежда, надо уходить отсюда.

— Ну куда отсюда уйдешь? — ответила я. — Корабль летит неизвестно куда. Где мы теперь, никому не ясно. Ведь разве мы сможем управлять кораблем?

И тогда трепанг Баль ответил мне:

— Управлять кораблем сможем. Не сейчас. После того, как больше узнаем. И ты нам нужна.

— Смогу ли я? — отвечаю.

Тут они вдвоем заверещали, зашипели на меня, уговаривали. А я только улыбнулась. Я не могла им сказать, что я счастлива. Все равно — вырвемся мы отсюда или нет. Я и трепанги — какой союз! Посмотрела бы Оля на свою старуху мать, как она идет по синему коридору мимо запертых дверей и клеток и поет песню: «Нам нет преград ни в море, ни на суше!»

— В общем, она нашла единомышленников, — ответил кратко Павлыш на разгневанные требования Дага читать вслух. — Поймите, я же в десять раз быстрее проглядываю эти листки про себя.

— Вот уж... — начал было Даг, но Павлыш уже читал следующий листок.

«Несколько дней я не писала. Некогда было. Это совсем не значит, что я была занята больше, чем всегда, — просто мысли мои были заняты. Я даже постриглась покороче, долго стояла перед темными зеркалами, кромсая скальпелем волосы. За что я отдала бы полжизни — это за утюг. Ведь никто меня не видит, никто не знает здесь, что такое глажка, никто, кроме меня, не знает, что такое одежда. А ведь сколько мне пришлось потратить времени, чтобы придумать, из чего шить и чем шить. Хуже, чем Робинзону на необитаемом острове. И вот я стояла перед темным зеркалом и думала, что никогда не приходилось мне ходить в модницах. А уж теперь, если бы я появилась на Земле, вот бы все удивились — что за ископаемое? Сейчас, по моим расчетам, на Земле идет шестидесятый год. Что там носят женщины? Хотя это где как. В Москве-то, наверно, модниц много. А Калязин — город маленький. Вот я и отвлеклась. Думаю о тряпках. Смешно? А Баль, это мой самый любимый трепанг, ради того, чтобы выучить получше мой язык, пошел на жертву. Порезался чем-то страшно. И глупышки меня на помощь позвали. Я тут у них уже признанная „скорая помощь“. Я Баля ругала на чем свет стоит, а не учла, что он памятливый. Вот он теперь все мои ругательства запомнил. Ну, конечно, ругательства не страшные — голова садовая, дурачина-простофиля — такие ругательства. Раз я имею свободу движения по вашей тюрьме, то у меня теперь две задачи — во-первых, держать связь между камерами, в которых сидят трепанги. Во-вторых, проникнуть за линию фронта и разузнать, где что находится. Вот я и вспомнила военные времена».

Следующий листок был коротеньким, написан в спешке, кое-как.

«Дола три раза заставлял меня ходить за перегородку, в большой зал. Я ему рассказывала. Дола главный. Они, видно, решили между собой, что моей помощи им мало. Должен пойти в операторскую Баль. До переборки я его доведу. Дальше у него будет моя бумажка с чертежом. И я останусь у переборки ждать, когда он вернется. Страшно мне за Баля. Глупышки куда шустрее. Пойдет он сейчас — в это время почти все они заняты на других этажах».

Запись на этом обрывалась. Следующая была написана иначе. Буквы были маленькими, строгими.

«Ну вот, случилось ужасное. Я стояла за перегородкой, ждала Баля и считала про себя. Думала, если успеет вернуться прежде, чем я досчитаю до тысячи, — все в порядке. Но он не успел. Задержался. Замигали лампочки, зажужжало — так всегда бывает, если на корабле непорядок. Мимо меня пробежали глупышки. Я пыталась закрыть дверь, их не пускать, но один меня так током ударил, что я чуть сознание не потеряла. А Баля они убили. Теперь он в музее. Мне пришлось скрываться у себя в комнате, пока все не утихло. Я боялась, что меня запрут, но почему-то меня они всерьез не приняли. Когда я часа через два вышла в коридор, поплелась к огороду — пора было витамины моей драконихе давать, — у дверей к трепангам стояли глупышки. Пришлось пройти, не глядя в ту сторону. Тогда я еще не знала, что Баля убили. Только вечером перекинулась парой слов с трепангами. И Дола сказал, что Баля убили. Ночью я переживала, вспомнила, какой Баль был милый, ласковый, красивый. Не притворялась. В самом деле очень переживала. И еще думала, что теперь все погибло — больше никому в операторскую не проникнуть. А сегодня Дола объяснил мне, что не все потеряно. Они, оказывается, могут общаться, даже совсем не видя друг дружку, разговаривать, пользуясь какими-то волнами, и на большом расстоянии. И вот Баль потому и задержался, что своим товарищам передавал все устройство рубки управления нашего корабля и свои по этому поводу соображения. Он даже побывал у самой Машины. Он знал, что, наверно, погибнет — он должен был успеть все передать. И Машина убила его. А может, и не убивала — она ведь только машина, но так и получилось. Каково, думала я, было моим прадедам — они ведь крепостные, совершенно необразованные. Они считали, что Земля — центр всего мира. Они не знали ничего о Джордано Бруно или Копернике. Вот бы их сюда. А в чем разница между мной и дедом? Я ведь хоть и читала в газетах о бесконечности мира, на моей жизни это не отражалось. Все равно я жила в центре мира. И этот центр был в городе Калязине, в моем доме на Циммермановой улице. А оказалось, моя Земля — глухая окраина...»

Даг что-то говорил Павлышу, но тот не слышал. Хотя отвечал невразумительно, как спящий тому, кто будит его до времени.

«Первый раз за все годы проснулась от холода. Мне показалось, что трудно дышать. Потом обошлось. Согрелась. Но трепанги, когда я к ним пришла, сказали, что с кораблем что-то неладно. Я спросила, не Баль ли виноват. Они ответили — нет. Но сказали, что надо спешить. А я-то думала, что корабль вечный. Как Солнце. Дола сказал, что они теперь много знают об устройстве корабля. И о том, как работает Машина. Сказали, что у них дома есть машины посложнее этой. Но им нелегко бороться с Машиной, потому что глупышки захватили их, как и меня, врасплох. И без меня им не справиться. Готова ли я и дальше им помогать? „Конечно, готова“, — ответила я. Но ведь я очень рискую, объяснил мне тогда Дола. Если им удастся повернуть корабль или найти еще какой-нибудь способ вырваться отсюда, они смогут добраться до своего дома. А вот мне они помочь не смогут. „А разве нет на корабле каких-нибудь записей маршрута к Земле?» — спросила я. Но они сказали, что не знают, где их искать, и вернее всего, они спрятаны в памяти Машины. И тогда я им объяснила мою философию. Если они возьмут меня с собой, я согласна куда угодно, только бы отсюда вырваться. Уж лучше буду жить и умру у трепангов, чем в тюрьме. А если мне и не удастся отсюда уйти, хоть спокойна буду, что кому-то помогла. Тогда и умирать легче. И трепанги со мной согласились.

На корабле стало еще холодней. Я потрогала трубы в малом зале. Трубы чуть теплые. Два глупышки возились у них, что-то чинили. С трепангами я договориться смогла, а вот глупышки за все годы ничего мне не сказали. Да и что им сказать? Но мне надо идти, и я совсем не знаю, вернусь ли к моим запискам. Я еще хочу написать — даже не для того, кто будет читать эти строчки, а для себя самой. Если бы мне сказали, что кого-нибудь можно посадить на несколько лет в тюрьму, где он не увидит ни одного человека, даже тюремщика не увидит, я бы сказала, что это наверняка смерть. Или человек озвереет и сойдет с ума. А вот, оказывается, я не сошла. Износилась, постарела, измучилась, но живу. Я сейчас оборачиваюсь на прошлое и думаю — а я ведь всегда, почти всегда была занята. Как и в моей настоящей жизни на Земле. Наверно, моя живучесть и держится на том, что умеешь найти себе дело, найти что-то или кого-то, ради чего стоило бы жить. А у меня сначала была надежда вернуться к Оленьке, на Землю. А потом, когда эта надежда почти угасла, оказалось, что даже и здесь я могу пригодиться».

И последний листок. Он обнаружился в пачке неисписанных листков, тех, что Надежда заготовила, обрезала, но не успела ничего на них написать.

«Уважаемый Тимофей Федорович!

Примите мой низкий поклон и благодарность за все, что вы сделали для меня и моей дочери Ольги. Как вы там живете, не скучаете ли, вспоминаете ли меня иногда? Как ваше здоровье? Мне без вас порой бывает очень тоскливо, и не думайте, пожалуйста, что меня останавливало то, что вы инвалид...»

Дальше было две строчки, густо зачеркнутых. И нарисована сосна. Или ель. Плохо нарисована, неумело.

## 5

Потом прошло несколько дней. Павлыш спал и ел под своим тентом и уходил в длинные коридоры корабля, как на работу. На связь он выходил редко и отмалчивался, когда Даг начинал ворчать, потому что его товарищи воспринимали Надежду как сенсацию, удивительный парадокс — для них она оставалась казусом, открытием, явлением (тут можно придумать много слов, которые лишь приблизительно раскроют всю сложность их переживаний, в которых не было одного — отождествления).

Павлыш оставался все время рядом с Надеждой, ходил по ее следам, видел этот корабль — его коридоры, склады, закоулки — именно так, как видела их Надежда, он проникся полностью атмосферой трагической тюрьмы, которая, вернее всего, и не предназначалась для такой роли, которая внесла в жизнь медсестры из калязинской больницы страшную неизбежность, которую та осознала, но с которой в глубине души все-таки не примирилась.

Теперь, зная каждое слово в записках Надежды и расшифровав последовательность передвижений женщины по кораблю, уяснив значение ее маршрутов и дел, побывав и в тех местах, куда Надежда попасть не могла, о существовании которых даже не подозревала, Павлыш уже мог знать, что произошло потом, причем именно знать, а не догадываться.

Обрывки проводов, перевернутый робот-глупышка, темное пятно на белесой стене, странный разгром в рубке управления, следы в отделении корабельного мозга — все это укладывалось в картину последних событий, участником которых была Надежда. И Павлыш даже не искал следы, а знал, что там и там они могут оказаться. А если их не оказывалось, он шел дальше до тех пор, пока уверенность его не подкреплялась новыми доказательствами.

...Надежда спешила дописать последний листок. Она очень жалела теперь, что так мало писала в последние недели. Она всегда не любила писать. Даже сестры корили ее за то, что совсем не пишет писем. И только сейчас она вдруг представила, что, если улетит с трепангами, может так случиться, что корабль попадет в руки к разумным существам, и даже к таким, которые передадут ее записки на Землю. И вот они будут клясть ее последними словами за то, что не описала свою жизнь подробно, день за днем, не описала ни трепангов, хоть знает их теперь как своих родственников, ни других, с которыми ей пришлось иметь дело на корабле, — одни давно уже погибли, другие попали в музей, третьим, видно, суждено будет погибнуть, потому что трепанги смогли узнать, — уж они куда больше Надежды разбираются во всякой технике, — что корабль так долго не возвращался к себе домой из-за того, что в системах его произошли неполадки. Если так дело пойдет дальше, он будет до скончания века носиться по Вселенной, понемногу ломаясь, умирая, как человек.

Все последние дни для Надежды проходили в спешке. Ей приходилось делать множество дел, значения которых она не всегда понимала, но знала, что они важны и нужны для цели, ясной трепангам. Она понимала, что расспрашивать их об этом бессмысленно. Они и не могли ей объяснить, даже если бы хотели. За эти годы Надежда научилась тому, что она не может понять даже самых неразумных обитателей корабля, не говоря уже о трепангах. Ведь сколько они прожили рядом с драконихой, сколько часов Надежда провела рядом с ней, а ведь так ничего она не узнала. Или шарики, жившие в стеклянном кубе. Шариков было много, десятка два. При виде Надежды они часто начинали менять цвет и раскатываться крупными бусинами по дну куба, складываясь в фигуры и круги, словно давали ей знаки, которых она понять не могла. Надежда говорила о шариках трепангам, но они или забывали сразу, или не удосуживались поглядеть на них. Надежда, когда стало ясно, что путешествие подходит к концу, связала из проводков мешок, чтобы захватить шарики с собой. Знала даже, что шарикам нужна вода — больше ничего им не нужно.

Вот и сейчас, как допишет, сложит свое добро, надо бежать открывать три двери, которые нарисовали ей трепанги на плане. Эти двери трепангам не открыть, потому что квадратики слишком высоки для них.

Надежда поняла, что они возьмут с собой ту лодку, которая когда-то захватила ее в плен. На ней и полетят. Но для того чтобы сделать это, надо обязательно вывести из строя главную машину. А то к лодке не пройти, и Машина просто не выпустит их с корабля. Для этого Надежда тоже была нужна.

Надежда не спала уже вторую ночь. И не только потому, что была охвачена возбуждением, но и потому, что трепанги не спали вообще и не понимали, почему ей надо обязательно отключаться и ложиться. И стоило ей улечься, как сразу в мозгу она ощущала толчок — трепанги звали ее.

Складывая листки, Надежда вдруг засомневалась, оставлять ли их здесь. А может, взять с собой на лодку? Может, им лучше будет с ней? Мало ли что случится в пути? Нет, рассудила, сама-то она всегда может рассказать. А на корабле ничего не останется.

Толчок в голове. Надо бежать. Надежде вдруг показалось, что она уже не вернется сюда. Жизнь, тянувшаяся так медленно и монотонно, вдруг набрала страшную скорость и помчалась вперед. И именно сейчас она может оборваться...

— Мы постараемся повернуть сам корабль к нашей планете, — сказали ей трепанги. — Но это очень рискованно. Ведь для этого мы должны заставить мозг корабля подчиниться нам. Если нам это не удастся, то мы постараемся вывести его из строя. Так, чтобы воспользоваться спасательной лодкой. Но прилетит ли она куда надо, сможем ли мы ею управлять — мы тоже не уверены. Поэтому возможно, что нам грозит смерть. И мы должны сказать тебе об этом.

— Знаю, — сказала Надежда. — Я была на войне.

Но это ничего не говорило трепангам, у которых давно не было войн.

Трепанги тоже не теряли времени даром. Они сделали такие палки, которыми надо дотронуться до глупышки — и он выключается. Палку дали Надежде. Она должна была идти впереди и открывать двери.

Два трепанга пошли за ней следом. Два других поспешили, поползли, подпрыгивая, наверх, где тоже было отделение с какими-то машинами, как капитанский мостик на пароходе, только без окон.

— Три двери, — повторял трепанг. — Но за последней дверью, возможно, не будет воздуха. Или будет не такой, как в нашем отделении. Сразу не входи. Подождем, пока наполнится. Ясно?

Трепанги всегда говорили ясно, они очень старались, чтобы Надежда понимала их приказы и просьбы. За первой дверью Надежда как-то была. Помнила, что там широкий проход и по стенам стоят запасные глупышки. Как мертвые. Трепанги сказали ей, что там глупышки подзаряжаются, отдыхают. Почему она туда попала и когда это было — Надежда не помнила. Но коридор с мертвыми глупышками в нишах запомнился отчетливо.

— Они тебя не тронут, — сказал Дола.

— Не успокаивай, — сказала Надежда.

— Только не рискуй. Без тебя нам не выбраться. Помни это.

— Отлично помню. Не волнуйся.

Надежда провела ладонью по квадрату в стене, и дверь отошла в сторону. В том коридоре был странный запах, сладкий и в то же время горелый. Все ниши были заняты.

— Им приходится теперь дольше подзаряжаться, — сказал Дола, ползший сзади. — Ты видела, что их меньше стало в наших отсеках?

— Да, заметила, — сказала Надежда. — Не забыть бы взять шарики.

— Шарики?

— Я о них говорила.

— Осторожнее!

Один из глупышек вдруг резко выскочил из ниши и поехал к ним, собираясь загородить дорогу и, может, отогнать их обратно. Глупышка спешил устранить непорядок.

— Быстрее, — сказал Дола. — Быстрее.

Надежда побежала вперед и постаралась перепрыгнуть через глупышку, бросившегося к ней под ноги.

Но глупышка — как это она забыла? — тоже подпрыгнул и ударил ее током. К счастью, несильно. Наверно, сам не успел подзарядиться. Надежда упала на колени и выронила палку. Ушиблась больно и даже охнула. Ноги у нее были уже не те, что несколько лет назад. Она ведь в техникуме играла в волейбол. За «Медик». Второе место в Ярославле. Только это было очень давно.

Глупышку остановил Дола, который тоже имел такую же палку, как у Надежды, только покороче.

— Что с тобой? — спросил он. Голос у трепанга шипящий, без всякого выражения, но по ощущению в голове Надежда поняла, как он волнуется.

— Ничего, — сказала Надежда, поднимаясь и заставляя себя забыть о боли. — Пошли дальше.

До следующей двери было шагов двадцать. Еще один глупышка стал вылезать из ниши, но делал он это медленно.

— Машина уже получила сигнал, — сказал Дола. — Они с ней связаны.

Надежда добежала, ковыляя, до двери, но квадрата на нужном месте не оказалось.

— Я не знаю, как открыть, — сказала она.

Сзади было тихо.

Она оглянулась. Дола стоял неподвижно. Второй трепанг отбивался палочкой от трех глупышек сразу.

— Скорее, — сказал наконец Дола.

— Может, есть другой путь? — спросила Надежда, чувствуя, как у нее холодеют руки. — Эту дверь нам не открыть.

— Другого пути нет, — сказал Дола, и голос его шептал, шелестел откуда-то снизу, издалека. Дверь была заперта надежно.

Еще глупышки, другие, вялые, медленные, выползали из ниш, и казалось, что на трепанга надвигается стадо слишком больших божьих коровок.

И в этот момент дверь открылась сама. Распахнулась резко, так что Надежда еле успела отпрыгнуть в сторону, потому что почувствовала, что дверь открывается неспроста. Так вбегает домой хозяин, подозревающий, что к нему забрались воры.

Дола тоже успел отпрыгнуть в сторону. Трепанги умеют иногда прыгать довольно резко.

Из двери выскочил глупышка, которого Надежда никогда раньше не видела. Он был чуть ли не с нее ростом и скорее был похож на шар, а не на черепашку, как прочие. У него было три членистые руки, и он громко, угрожающе жужжал, словно хотел распугать тех, кто осмелился зайти в неположенное место.

Откуда-то вырвалось пламя и пролетело, заполняя коридор, совсем рядом с Надеждой, и она ощутила его обжигающую близость. Она зажмурилась и не увидела, как Дола успел, подобрав палку, остановить глупышку, заставить его замереть. Хоть и было поздно.

Черепашки, толпившиеся в дальнем конце коридора, уже потемнели, словно обуглились, а второй трепанг, который сдерживал их и не успел отскочить, когда открылась дверь, превратился в кучку пепла на полу.

Все это Надежда видела как во сне, словно ее не касались ни опасность, ни смерть. Она понимала, что ее дело — пройти за вторую дверь, потому что дверь может закрыться, и тогда все, ради чего погибли Баль и этот трепанг, окажется бессмысленным и ненужным.

За второй дверью оказался круглый зал, словно верхняя половина шара. Они успели вовремя. К двери уже катился второй большой глупышка. Дола успел броситься к нему и обезвредить раньше, чем тот начал действовать.

Перед Надеждой было несколько дверей, совершенно одинаковых, и она обернулась к Доле, чтобы он сказал, куда идти дальше.

Тот уже спешил вперед и быстро, изгибаясь, как испуганная гусеница, высоко поднимая спину, пополз мимо дверей, на какую-то долю секунды останавливаясь перед каждой и словно вынюхивая, что за ней находится.

— Здесь, — сказал он. — Ищи, как войти.

Надежда уже стояла рядом. Эта дверь также была без запора. И какое-то тупое отчаяние овладело Надеждой. Она тогда просто толкнула дверь рукой, и та, словно ждала этого, провалилась вниз.

Они были перед Машиной. Перед хозяином корабля, перед тем, кто отдавал приказы спускаться на чужие планеты и забирать все, что попадется, перед тем, кто поддерживал на корабле порядок, кормил, наказывал и хранил его пленников и добычу.

Машина оказалась просто стеной с множеством окошек и разноцветных лампочек, серых и голубых плиток и рукоятей. Это была Машина, и ничего более. Она удивила Надежду. Нет, не разочаровала, а удивила, потому что за годы, проведенные здесь, Надежда много раз пыталась представить себе хозяина корабля и наделяла его множеством страшных черт. Но именно безликость Машины ей никогда не приходила в голову.

Маленький глупышка, который сидел где-то высоко на машине, соскользнул вниз и покатился к ним. Надежда хотела ткнуть его палкой, но палка была у Долы, и тот пополз навстречу глупышке и остановил его.

— Что дальше? — спросила Надежда, переводя дух. Ее юбка, сшитая из найденной на корабле материи, похожей на клеенку, распоролась на коленях и замаралась кровью — оказывается, она сильно расшиблась, когда прыгала через глупышку.

Дола не ответил. Он уже стоял перед Машиной и крутил своей червяковой головкой, разглядывая ее.

Что-то щелкнуло, словно от взгляда Долы, и зал наполнился громким прерывистым шипением. Надежда отпрянула, но тут же догадалась, что это голос другого трепанга.

— Все в порядке, — сказал тогда Дола. — Посади меня вот сюда. Я поверну эту ручку.

Надежда посадила его повыше, и он сделал что-то в Машине.

— Наши, — сказал Дола, уже опустившись снова на пол и проползая вдоль Машины, — на центральном пульте. Если все будет в порядке, мы сможем управлять кораблем.

Дола прислушивался к шипению, которое исходило из черного круга — видно, какого-то переговорного устройства, и говорил Надежде, что надо сделать, если сам не мог дотянуться до того или иного рычага или кнопки. И Надежда вдруг поняла, что они находятся в машинном отделении парохода и капитан со своего мостика отдает им приказания: «Тихий ход, полный ход». И скоро они поедут дальше, домой.

И ее охватила странная, сладкая усталость. Ноги отказались ее держать. Она села на пол и сказала Доле:

— Я отдохну немножко.

— Хорошо, — сказал Дола, прислушиваясь к словам своих товарищей с капитанского мостика.

— Я отдохну, а потом буду тебе помогать.

— Они пытаются перевести корабль на ручное управление, — сказал ей Дола через некоторое время, и голос его донесся издалека-издалека.

И тут же Дола вскрикнул. Она никогда не слышала, чтобы трепанги кричали. Что-то случилось такое, что заставило его сильно испугаться.

Огоньки на лице Машины гасли один за другим, перемигиваясь все слабее, будто прощались друг с дружкой.

Шипение из репродуктора превратилось в слабый визг, и Дола выкрикивал какие-то отдельные звуки, которые не могли иметь смысла, но все же имели.

— Быстро, — сказал Дола. — К катеру.

Чего-то они не учли. В Машине, на вид покорившейся восставшим пленникам, сохранились клеточки, которые приказали ей остановиться, умереть, лишь бы не служить другим, чужим.

Надежда поднялась на ноги, чувствуя, как Дола толкает ее, торопит, но никак не могла должным образом испугаться — все ее тело продолжало цепляться за спасительную мысль: «Все кончилось, все хорошо, теперь мы поедем домой».

И даже когда она бежала за Долой по коридору, мимо обожженных глупышек, даже когда они выскочили наружу и Дола велел ей скорее сносить к катеру еду и какие-то круглые, тяжелые предметы вроде морских мин, помогая ей при этом, она продолжала убаюкивать себя мыслью, что все будет в порядке. Ведь они одолели машину.

У люка, который вел к катеру, Надежда сваливала продукты и бежала снова, потому что надо было захватить и воду, и еще этих шаров, в которых, оказывается, был воздух. И Дола все старался объяснить ей, но забывал слова и путался, что теперь Машина перестала вырабатывать воздух и тепло, и скоро корабль умрет, и, если они не успеют погрузить и подготовить к отлету катер, их уже ничто не спасет.

Два других трепанга прибежали с капитанского мостика, притащив какие-то приборы, и стали возиться в катере. Они даже не замечали Надежду — движения их были суматошны, но быстры, словно каждая из их рук — а их у трепангов по два десятка — занималась своим делом.

Сколько продолжалась эта беготня и суматоха, Надежда не могла сказать, но где-то на десятом или двадцатом походе в оранжерею она вдруг поняла, что в корабле стало заметно холодней и труднее дышать. Ее даже удивило, что предсказания Долы сбываются так быстро. Ведь корабль же закрытый. Она не знала, что устройства, поглощавшие воздух, чтобы очистить и согреть его, еще продолжали работать, а те, что должны были этот воздух возвращать на корабль, уже отключились. Корабль погибал медленно, и некоторые его системы, о чем тоже Надежда знать не могла, будут работать еще долго: месяцы, годы.

Надежда хотела было забежать к себе в каюту и забрать вещи, но Дола сказал ей, что придется отбывать через несколько минут, и тогда она решила вместо этого притащить еще один шар с воздухом, потому что он нужен был всем, а без юбки или косынки, без чашек она обойдется.

Когда она тащила шар к катеру, то увидела на полу мешок, сплетенный из цветных проводов. «Господи, — подумала она, — я же совсем забыла». Она добежала до катера, опустила шар у люка.

— Скорее заходи, — сказал Дола изнутри, вкатывая тяжелый шар.

— Сейчас, — сказала Надежда, — одну минутку.

— Ни в коем случае! — крикнул Дола.

Но Надежда уже бежала по коридору к мешку и с ним к стеклянному кубу, где ждали ее шарики. А может, и не ждали. Может, она все придумала.

Шарики при виде Надежды рассыпались лучами из центра, словно изображали ромашку.

— Скорее, — сказала им Надежда. — А то мы останемся. Поезд уйдет.

Она сунула мешок внутрь, и, к ее удивлению, шарики послушно покатились внутрь. Она была даже благодарна им, что они так быстро управились.

Мешок оказался тяжелым, тяжелее, чем шары с воздухом.

Надежда тащила его по коридору, и, несмотря на стужу в корабле, ей было жарко. И она задыхалась.

И если бы она не была так занята мыслью о том, как добраться до катера, она бы заметила еще одного большого глупышку, который, видно, охранял какое-то другое место на корабле, но, почуяв неладное, когда умерла Машина, покатился по коридорам отыскивать причину беды.

Надежда уже подбегала к катеру, ей оставалось пройти несколько шагов, как глупышка, который тоже увидел катер и направил свой огненный луч прямо в люк, чтобы сжечь все, что было внутри, увидел ее. Неизвестно, что подумал он и думал ли он вообще, но он повернул луч, и Надежда успела лишь отбросить мешок с шариками.

Но этой секунды было Доле достаточно, чтобы захлопнуть люк. И следующий выстрел глупышки лишь заставил почернеть бок катера. Исчерпав свои заряды, глупышка застыл над кучкой пепла. Отключился. Шарики высыпались из мешка и раскатились по полу.

Дола открыл люк и сразу все понял. Но он не мог задерживаться. Может быть, если бы он был человеком, то собрал бы пепел, оставшийся от Надежды, и похоронил его у себя дома. Но трепанги таких обычаев не знают.

Дола завинтил крышку люка, и катер оторвался от умирающего корабля и понесся к звездам, среди которых была одна, нужная трепангам. Они еще не знали, удастся ли им до нее добраться.

Павлыш поднял с пола обгоревший клочок материи — все, что осталось от Надежды. Потом собрал в кучку шарики. История кончилась печально. Хотя оставалась маленькая надежда на то, что ошибся, что Надежда успела все-таки улететь на катере.

Павлыш поднялся и подошел к холодному, пустому, сделавшему все, что от него требовалось, роботу, который так и простоял все эти годы, целясь в пустоту. Робот выполнял свой долг — охранял корабль от возможных неприятностей.

— Ты уже часа два молчишь, — сказал Даг. — Ничего не случилось?

— Потом расскажу, — сказал Павлыш. — Потом.

## 6

Они сидели с Софьей Петровной у самого окна. Она пила лимонад, Павлыш — пиво. Пиво было хорошее, темное, и сознание того, что его можно пить, что ты находишься в простое и до ближайшей медкомиссии месяца три, не меньше, обостряло сладкое ощущение небольшого, простительного проступка.

— А разве вам можно пить пиво? — спросила Софья Петровна.

— Можно, — сказал коротко Павлыш.

Софья Петровна недоверчиво покачала головой. Она была убеждена, что космонавты не пьют пива. И была права.

Она отвернулась от Павлыша и смотрела на бесконечное поле, на причудливые на фоне оранжевого заката силуэты планетарных машин.

— Долго что-то, — сказала она.

Софья Петровна казалась Павлышу скучным и правильным человеком. Она, наверно, отлично знает свое дело, учит детей русскому языку, но вряд ли дети ее любят, думал Павлыш, разглядывая ее острый, завершенный профиль, гладко причесанные и собранные сзади седые волосы.

— Почему вы меня разглядываете? — спросила Софья Петровна, не оборачиваясь.

— Профессиональная привычка? — ответил вопросом Павлыш.

— Не поняла вас.

— Учитель должен видеть все, что происходит в классе, даже если это происходит у него за спиной.

Софья Петровна улыбнулась одними губами.

— А я решила, что вы ищете сходства.

Павлыш не ответил. Он искал сходства, но не хотел в этом признаваться. Шумная компания курсантов в синих комбинезонах заняла соседний стол. Комбинезоны можно было снять еще в ангаре, но курсантам нравилось в них ходить. Они еще не успели привыкнуть ни к комбинезонам, ни к пилоткам с золотым гербом планетарной службы.

— Что-то они запаздывают, — повторила Софья Петровна.

— Нет, — Павлыш взглянул на часы. — Я же советовал вам подождать дома.

— Дома было не по себе. Создавалось впечатление, что кто-то сейчас войдет и спросит: «А почему вы не едете?»

Софья Петровна говорила правильно и чуть книжно, словно все время мысленно писала фразы и проверяла их с красным карандашом.

— Все эти годы, — продолжала она, приподняв бокал с лимонадом и разглядывая пузырьки на его стеклах, — я жила ожиданием этого дня. Это может показаться странным, так как внешне я старалась ничем не проявлять постоянного нетерпения, владевшего мною. Я ждала, пока расшифруют содержание блоков памяти того корабля. Я ожидала того дня, когда будет отправлена экспедиция к планете существ, которых моя бабушка называла трепангами. Я ждала ее возвращения. И вот дождалась.

— Странно, — сказал Павлыш.

— Я знаю, насколько вы были разочарованы при нашей первой встрече, когда я не проявила ожидавшихся от меня эмоций. Но что я должна была делать? Я же представляла себе бабушку лишь по нескольким любительским фотографиям, по рассказам мамы и по четырем медалям, принадлежавшим бабушке с тех лет, когда она была медицинской сестрой на фронте. Бабушка была для меня абстракцией. Моя мать уже умерла. А ведь она была последним человеком, для которого сочетание слов «Надежда Сидорова» означало не только любительскую фотографию, но и воспоминание о руках, глазах, словах бабушки. Со дня исчезновения бабушки уже прошло почти сто лет... Я ощутила связь с ней лишь потом, когда вы уехали. Нет, виноваты в том не газеты и журналы со статьями о первом человеке, встретившем космос. Причина в дневнике бабушки. Я стала мерить собственные поступки ее терпением, ее одиночеством.

Павлыш наклонил голову, соглашаясь.

— И я не такой сухарь, как вы полагаете, молодой человек, — сказала вдруг Софья Петровна совсем другим голосом. — Я основная исполнительница ролей злых старух в нашем театре. И меня любят ученики.

— Я и не думал иначе, — соврал Павлыш.

И, подняв глаза, встретился с улыбкой Софьи Петровны.

Ее втянутые щеки порозовели. Она сказала, поднимая бокал с лимонадом:

— Выпьем за хорошие вести.

Даг быстро шел между столиков, издали заметив Павлыша и Софью Петровну.

— Летят, — сказал он. — Диспетчерская получила подтверждение.

Они стояли у окна и смотрели, как на горизонте опустился планетарный катер, как к нему понеслись разноцветные под закатом капли флаеров. Они спустились вниз, потому что Даг отлично знаком с начальником экспедиции Клапачом и надеялся, что сможет поговорить с ним раньше журналистов.

Клапач вылез из флаера первым. Остановился, оглядывая встречающих. Курносая девочка с очень белыми, как у Клапача, волосами подбежала к нему, и он поднял ее на руки. Но глаза его не переставали искать кого-то в толпе. И когда он подходил к двери, то увидел Дага, Павлыша и Софью Петровну. Он опустил дочку на землю.

— Здравствуйте, — сказал он Софье Петровне. — Я уж боялся, что вы не придете.

Софья Петровна нахмурилась. Ей было не по себе от ощущения, что на нее смотрят телевизионные камеры и фотоаппараты.

Перед лицом Клапача покачивался похожий на шмеля микрофон, и Клапач отмахнулся от него.

— Она долетела? — спросила Софья Петровна.

— Нет, — сказал Клапач. — Она погибла, Павлыш был прав.

— И ничего?..

— Нам не пришлось долго расспрашивать о ней. Посмотрите.

Клапач расстегнул карман парадного мундира. Летный состав всегда переодевается в парадные мундиры на внешних базах. Остальные члены экипажа стояли за спиной Клапача. На площадке перед космопортом было тихо.

Клапач достал фотографию. Объектив телекамеры спустился к его рукам, и фотография заняла экраны телевизоров.

На фотографии был город. Приземистые купола и длинные строения, схожие с валиками и цепочками шаров.

На переднем плане статуя на невысоком круглом постаменте. Худая, гладко причесанная женщина в мешковатой одежде, очень похожая на Софью Петровну, сидит, держа на коленях странное существо, похожее на большого трепанга.

— Пап, — сказала курносая девочка, которой надоело ждать. — Покажи мне картину.

— Возьми, — Клапач отдал ей фотографию.

— Червяк, — сказала девочка разочарованно.

Софья Петровна опустила голову и короткими, четкими шагами пошла к зданию космопорта. Ее никто не останавливал, не окликал. Лишь один из журналистов хотел было кинуться вслед, но Павлыш поймал его за рукав.

Фотографию у девочки взял Даг.

Он смотрел на нее и видел мертвый корабль, проваливающийся в бесконечность космоса.

Через минуту площадь перед космопортом уже гудела от голосов, смеха и той обычной радостной суматохи, которая сопровождает приход в порт корабля или возвращение на Землю космонавтов.